

© 2005 г. Патрик СЕРИО

К.С. АКСАКОВ: ЛИНГВИСТ-СЛАВЯНОФИЛ ИЛИ ГЕГЕЛЬЯНЕЦ?

В статье излагаются основные положения философии языка русского славянофила-гегельянца К.С. Аксакова. К.С. Аксаков в своих трудах подчеркивает уникальный характер русского языка и невозможность описать его в категориях европейской лингвистики, в частности, в рамках компаративистики. Он проявляет в связи с этим явное отсутствие интереса к изучению родственных связей языков и корней, к идее общего происхождения индоевропейских языков из единого праязыка, к понятию преемственности. Для К.С. Аксакова язык – это материальный субстрат социальной психологии. Предлагается создание новой философии языка, в частности выдвигается тезис о необходимости “слушать” то, что русский язык “говорит” об истории русской нации; кроме того, ставится цель найти истинное место русского языка среди языков Европы и, наконец, показать *совершенство* его форм.

“Можно ли быть гегельянцем и славянофилом одновременно?” – задается вопросом А. Койре [Koyré 1950: 167], размышляя о православии. Эта классическая проблема обсуждалась уже неоднократно. В настоящей статье мы попытаемся ответить на данный вопрос в свете *славянофильской лингвистики*¹, опираясь на лингвистические работы Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860).

Для русского философа-эмигранта Д. Чижевского, специалиста по Г.В.Ф. Гегелю и члена Пражского лингвистического кружка, ответ однозначен: будучи решительным славянофилом, К.С. Аксаков до конца жизни оставался гегельянцем в своей философии языка [Tschizhevsky 1932: 18]². А. Валицкий, напротив, утверждает, что быть славянофилом и гегельянцем одновременно невозможно, так как данные философские позиции несовместимы [Walicki 1975: 288].

Лишь внимательное чтение оригинальных текстов и восстановление их интеллектуальных источников позволяет найти выход из этой ситуации, на первый взгляд кажущейся тупиковой.

Специалист по романтическому мировосприятию Г. Гюсдорф предлагает следующее противопоставление: “В отличие от восемнадцатого столетия, века философов, девятнадцатый век стал веком филологов” [Gusdorf 1968: 30]. Однако исследователи русской культуры должны обращать особое внимание на важность фактора пространства для изучения научных идеологий. К уже известному понятию *дух времени* (*air du temps*) необходимо добавить более сложное понятие *дух места* (*air du lieu*). В самом деле, случай Аксакова совершенно опровергает утверждение Гюсдорфа. В рамках русского варианта романтизма (для которого язык является воплощением или словес-

¹ Под *славянофильской лингвистикой* мы подразумеваем работы по грамматике и философии языка, написанные в эпоху “Великих реформ” Александра Второго и во многом противостоявшие традиционной лингвистике той эпохи в полемике, где столкнулись взгляды славянофилов и западников – их спор затрагивал проблемы языка. Многим лингвисты-славянофилы (помимо Аксакова, назовем В.И. Даля, Н.П. Некрасова, Н.И. Богородицкого, А.А. Дмитриевского) в своих рассуждениях были обязаны немецкому романтизму – хотя в большинстве случаев это не было выражено в их работах со всей должной очевидностью.

² Через семь лет Д. Чижевский напишет о том, что “философия истории Гегеля прекрасно могла служить основой для славянофильства” [Чижевский 1939: 164].

ным проявлением народного духа), Аксаков – философ языка, упражняющийся в грамматике, – выстраивает философские рассуждения о грамматических категориях русского языка.

Наступление эпохи романтизма можно представить, в частности, как изменение взгляда на библейский эпизод вавилонского столпотворения, отныне символизирующий восторженное открытие чудесного многообразия феноменов окружающего мира, оцениваемого исключительно положительно. В то же время, Аксаков вписывается в данную парадигму неоднозначно. Дело в том, что он интересуется не столько *разнообразием* явлений, сколько их *различиями*, – в частности, различиями, противопоставляющими Россию “Европе”. Не особенно беспокоили Аксакова и проблемы *случайного*, так как он интересовался, в первую очередь, поисками гармонического места России и ее языка в мироздании. В своих основных постулатах Аксаков и другие славянофилы середины девятнадцатого века в основном воспроизводят главные темы рассуждений о языке в семнадцатом веке в Германии: в то время участники дискуссий стремились возвысить статус германских языков по сравнению с романскими (а также кельтскими) и освободить изучение диалектов Севера от влияния модели описания классических языков, подчеркивая при этом принципиальное различие в выражении ими характерного поведения соответствующих групп населения. У Аксакова данная модель, очевидно, перемещается на Восток: в общих чертах, отношение немцев к рассуждениям французов воспроизводится теперь на русской почве как отношение русских мыслителей к французской и немецкой традициям, воспринимаемым как единое целое.

Помимо утверждения о различии, в рассуждениях Аксакова можно в какой-то степени увидеть продолжение парадигмы, объявленной им антагонистической славянофильству. Философское обоснование своим размышлениям о неповторимости русского языка он находит в немецкой философии. Здесь есть важный момент, на который, на наш взгляд, исследователи до сих пор недостаточно обращали внимание: заявления о разрыве, о различиях, о своеобразии и неповторимости часто оказываются тем более громкими, если они подразумевают не выраженную эксплицитно непрерывность стиля мышления. Так, в России XIX века соответствующие дискуссии велись как раз в терминах тех, от кого их участники на словах старались отмежеваться.

В лингвистических работах Аксакова встречаются контрастные и двойственные утверждения: язык для Аксакова – это чудесный и таинственный феномен вне всяких сравнений (как и прочие романтики, он очарован могуществом человеческого языка и его символов), и, в то же время, работа Аксакова состоит в умозрительной рационализации грамматических категорий русского языка на основе гегельянской философии.

Исследовав сначала альтернативные термины этой двойственной позиции, мы проанализируем затем два конкретных примера из работ Аксакова: его теорию формы и концепт “языкового содержания”, а также применение гегельянской триады к рассуждениям о категории вида русского глагола.

1. УВЛЕЧЕНИЕ ЛОГИКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВОПРЕКИ ТЕЗИСУ О САМОБЫТНОСТИ

Дискуссии, внесшие раскол в стан русской интеллигенции начиная с эпохи реформ Петра Первого и зазвучавшие особенно громко во время шока, испытанного вследствие непосредственного контакта русских с Западной Европой после победы русских войск над Наполеоном, строились вокруг двух разных систем метафор, дающих пищу рассуждениям о сущности России по отношению к Европе: *отставание* или *своеобразие*? Рассуждения об отставании, или о *разнице во времени*, основывались на интерпретации Гегеля представителями “поколения сороковых годов” (А.И. Герцен, Н.В. Станкевич, М.А. Бакунин). В них подчеркивался универсальный характер диалектики эволюции *во времени*: борьба противоположных начал, катастрофы и взрывы в эволюции как база существования и исторического развития всех социальных или культурных явлений. Два ключевых слова здесь – *прогресс* и *эволюция*.

Утверждение же о *своеобразии*, напротив, предполагало невозможность сравнения культур, народов, языков. Время едино для всех, однако конкретное пространство может принадлежать лишь одному-единственному народу. Этот релятивизм, свойственный и Аксакову, черпает поддержку в гумбольдтианской позиции: духовный характер народа и особенности языка последнего здесь смешиваются, а язык полагается выражением народного духа. По В. фон Гумбольдту, язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык.

На самом деле, две эти позиции суть следствия двух разных интерпретаций материала, идейное богатство которого вполне допускало два противоположных прочтения. Речь идет о гегельянстве, этой “официальной” философии в Германии в течение всего девятнадцатого столетия. Парадоксальным образом, гегельянство служило общим фоном для работ таких непримиримых соперников, как западники и славянофилы.

1.1. Гегель и умозрительная философия истории

Грамматика была лишь одним из многих других занятий Аксакова, стремившегося дать философскую интерпретацию различным феноменам культуры (литература, фольклор, эстетика, история и т.д.), за которыми он стремился найти “органическое единство”.

В отличие от многочисленных русских лингвистов своего поколения, Аксаков не учился у великих немецких лингвистов-романтиков – таких, как А. Шлегель (1767–1845), не знал он их и лично. Тем не менее, он прочел очень многое из Гегеля, ставшего для него культовой фигурой. Сам стиль письма и мышления Аксакова настолько проникнуты гегельянством, что его диссертация о М.В. Ломоносове [Аксаков 1846а] показалась в свое время М.П. Погодину “написанной по-немецки русскими словами” ([РА 1904], цит. по [Коурé 1950: 166]). В то же время, если Аксаков и пишет, как Гегель, он почти не цитирует его³. Не ясно, освоил ли он всю его философию до конца.

Выражая саму жизнь духа, ритм гегельянской диалектики воспроизводит также и ритм истории литературы и языка. Эта система с неизбежностью предполагает *эволюцию*, в ходе которой универсальное выражается и осуществляется в разных феноменах. Эволюция необходима: будучи неподвижным, универсальное превратилось бы в чистое небытие. Поэтому в различных феноменах оно отрицает самое себя и, тем самым, себя проявляет. Момент отрицания играет в этой интеллектуальной конструкции очень важную роль: эволюция осуществляет себя в отрицании, отрицании отрицания и т.д. Таким образом, отсутствие чего-либо, будучи “отрицанием присутствия”, иногда бывает столь же важным, сколь и это последнее, – точно так же, как, к примеру, отсутствие искусства в жизни какого-то народа, отсутствие определенных категорий в некотором языке и т.д.

Как и все философы пост-кантианцы, Аксаков реабилитирует концепт противоречия, отказываясь от аристотелевской логики исключенного третьего. Он пытается применить диалектику Гегеля к категориям русского языка.

1.2. Несравнимое и абсолютная самобытность

Семья Аксакова была одной из немногих образованных для своего времени, где дома говорили исключительно по-русски – не только со слугами, но и между собой. Как и его отец и брат, Аксаков стремился раскрыть “истинную природу” России, найти ее

³ Следует, тем не менее, напомнить, что после событий 1848 года в Центральной Европе, в России было запрещено цитировать Гегеля. По духу это вполне соответствовало закрытию всех учебных заведений, в которых преподавалась философия, и передаче соответствующих функций богословным учреждениям.

место в мире, в особенности в свете ее отношений с Западом. Оригинальный характер его работы состоял в попытках найти ответы на все эти вопросы в *языке*.

Славянофилы уделяли большое внимание проблемам языка. Для них, как и для романтического направления в целом, язык представлял собой органическую целостность⁴, развивающуюся в истории, подобно живому существу. В каждую эпоху она воплощает некое коллективное бессознательное, в котором черпают вдохновение поэты и народная мудрость. Эта идея положила конец мечте об экуменизме, свойственной эпохе Просвещения. В России же оспаривались идеи, пришедшие с Запада.

Аксаков призывает отказаться от “иностранных очков” и “выслушать открытым слухом ответ, какой дают русский язык, русская история” [Аксаков 1855: 8]. Он постоянно пишет об уникальном характере русского языка и о невозможности адекватно описать его в категориях “европейской” лингвистики, разработанной для описания языков Западной Европы. Он призывает освободить русскую грамматику от ярма старой универсальной логико-схоластической грамматической традиции. Здесь он, безусловно, дитя своей эпохи – прежде всего, в своем навязчивом стремлении к чистоте, а также в постоянных рассуждениях о вырождении и дегенерации. Его понятие *самобытного* опирается на отрицание подражаний в науке и заимствований в языке: “Долой все заимное” – вот его лозунг.

Мы имеем дело, таким образом, со своеобразной инверсией, “перевертышем” идеи компаративного проекта Европы в восемнадцатом веке: сравнение, основывающееся в данном случае на тезисе о принципиальной несравнимости, служит отныне не объединению, как в случае К.Ф. Вольне (1757–1820) (открывать похожее в разнообразии форм), но разделению, разъединению.

Понятно, поэтому, и совершенно отсутствие интереса к изучению родственных связей и корней, идее общего происхождения, преемственности, реконструкции языка. В отличие от работ немецких лингвистов-романтиков (к примеру, братьев Ф. и А. Шлегелей), в текстах Аксакова предвосхищается не биологический органицизм – и это несмотря на постоянное использование метафоры “жизни”, – а важным оказывается определение своеобразия и самобытности (*identité*), стремление показать разрыв, установить различия. *Быть* для него, как и для других славянофилов, – это *быть другим*, что и подразумевает самобытность, с необходимостью определяемую существованием Другого⁵. Сложность в том, что само это различие описывается в терминах заимствованной философии – гегельянства, и в той или иной степени этим отмечены все работы Аксакова по грамматике.

Лингвистическое наследие Аксакова поражает сочетанием удивительных интуитивных прозрений и, пожалуй, чересчур смелых размышлений и теоретических построений, даже если последние и не кажутся на первый взгляд столь фантастическими, как знаменитые этимологические изыскания А.С. Хомякова, выделявшего следы славянских основ во всей топонимике Западной Европы⁶.

Аксаков не предлагает ни типологии языков, ни их иерархии, в отличие от братьев Шлегелей. В его трудах – в равной степени лингвистических и исторических – обращает на себя внимание, прежде всего, тема своеобразия, самобытности. Если проводить сравнения, речь идет, скорее, не о тщательных технических методах, как у Ф. Боппа,

⁴ Об органической целостности см. [Серио 2001].

⁵ Это основная тема “Напутного слова” В.И. Даля к своему словарю 1862 г. [Даль 1862], ставшего своеобразным манифестом славянофильской лингвистики.

⁶ Так, Хомяков полагал, что вся юго-западная часть Франции, до прихода галлов, была населена славянами, о чем, по его мнению, свидетельствовала топонимика: Périgord = Пригорье, Bigorre = Погорье, Cahors = Когорье, Vendée, земля свободы = Венд, как и Венеция, le Roussillon = Русь, а Antibes = Ант(ы), другое возможное название славян. В то же время, название англичан как нации свидетельствует якобы об их принадлежности к славянскому племени угличей [Хомяков 1861: 92–93].

но о самых общих ценностных суждениях: западные языки предполагают рациональный, чисто внешний подход к действительности, а не органический, свойственный русскому языку.

Для Аксакова, как и для прочих лингвистов-славянофилов, язык является *константой*, постоянным фактором социального – или, точнее, психосоциального – порядка. Язык – это материальный субстрат социальной психологии. Аксаков ищет в языке воплощенное мышление, дух и даже судьбу народа, который на нем говорит. Поэтому сравнение языков для него служит лишь средством выявления народного духа. В русском, например, нет артикля – “члена, который всегда кажется нам странным и трудным при изучении других языков, который отнимает силу и краткость у выражения и, растягивая, ослабляет его” [Аксаков 1838: 11]; для русского языка характерны исключительное разнообразие и изменчивость грамматических форм слова (“В русском языке видим мы высочайшую изменяемость в слове, оно все движется, живет; один корень, как вечный дух слова, остается пребывающим, а все вокруг него и с начала до конца, движется и изменяется” [там же]); русский язык выражает мысли более точно и ясно, благодаря флективной парадигме своих базовых форм: “Шесть падежей заменяют толпу предлогов, ослабляющих выражение” [там же: 18]. Грамматические особенности русского языка – такие, как оппозиции времени и вида, полных и кратких форм прилагательных, использование глагола “быть”, а не “иметь”, в качестве вспомогательного, – все это позволяет Аксакову утверждать, что “русский язык ближе всех европейских к общему источнику слова, а потому вместе и самый древний и самый юный. В нем ни одна буква не застоялась, в нем каждый звук живет и изменяется” [там же: 13]. Здесь очевидна биологическая метафора *зародыша-эмбриона, имеющего сильную потенцию и способность к развитию*.

Для лучшего понимания связности лингвистической мысли Аксакова и несмотря на все ее сложности и нюансы, необходимо хорошо понимать, кто же были его противники, “против кого” он писал. Это не легко, ибо последние явно присутствуют в его сочинениях, в то же время не называясь по именам. Прежде всего, это “абстрактная логика” – скорее всего, общие грамматики, вышедшие из грамматической традиции Пор-Рояля, и стоящая за последней традиция применения аристотелевской логики к грамматике. Важным, однако, оказывается сам концепт универсального (*universalité*), немедленно ассоциирующийся с образом Другого: это Запад, а точнее, философия Просвещения в своем самом рационалистическом варианте. В общем Аксаковым отрицается и отбрасывается кантианская космополитическая философия истории, где прогресс, как и у французских революционеров, предполагает резкий разрыв с прошлым. В этом отношении Аксаков органично вписывается в немецкое посткантианство, вставая на сторону зарождающегося национализма. Однако романтизм у него тоже не в чести: во имя гегелевской философии прогресса и эволюции, Аксаков отказывается признать шлегелевскую оппозицию праисторических древних языков и “упаднических” исторических языков. Это еще одно “больное место” его концепции. Дело в том, что русский язык не получает определенного места на шкале, последовательно располагающей языки от расцвета (начальная точка) до вырождения (конечная точка), как это представлено в диахронической типологии романтиков. Степень совершенства языков не может быть представлена единой шкалой. Важно и существенно то, что русский язык – *иной*, и этим все сказано. Если работы немецких романтиков основывались на сравнении, в перспективе предполагавшем проникновение в тайны человеческого духа, цель Аксакова состоит в том, чтобы воспеть самобытный характер русского языка, в принципе не сравнимого ни с какими другими. Самобытность, по Аксакову, выражается в том, чтобы быть не таким, как другие. Понятно теперь, что органическая метафора языкового родства была мало интересна Аксакову: ведь признать родство между русским и другими индоевропейскими языками означало бы отрицать сам объект штудий славянофилов, стремящихся продемонстрировать абсолютное своеобразие, самобытность всего русского. Свообразие это выражается в отношениях между языком и мышлением. Для Аксакова цель русской филологии со-

стоит не столько в том, чтобы изучать способ выражения мысли *через* язык или *в* языке, сколько в раскрытии мышления языка, проникновении в его сущность, его внутренние органические законы. Речь идет о резкой критике рационалистического принципа отождествления логики и грамматики, который Аксаков заменяет гумбольдтианским принципом отождествления языка и мышления: язык не просто выражает мышление, но его воплощает [Аксаков 1846а: 32].

Этот отказ от традиции общих грамматик, основанных на универсальной логике, мотивируется тем фактом, что последние не признают самобытности русского языка и несут в себе опасность растворения в иностранных схемах и подчинения им. Все это влечет за собой дискредитацию проекта общей лингвистики во имя специфических лингвистических исследований каждого языка. Однако систематическое применение гегельянской диалектики способствует трансформации данной позиции в философию языка, или, если точнее, в спекулятивную, умозрительную лингвистику.

1.3. Романтическая теория познания

Задачу лингвистики Аксаков видит в том, чтобы создать грамматическое описание русского языка, которое соответствовало бы его национальной специфике. Оказывается, таким образом, что *метод создается объектом*, а потому грамматических дисциплин должно существовать столько, сколько существует описываемых языков⁷. Именно в этом отношении работа Аксакова кажется нам особенно интересной, но, в то же время, и двусмысленной: конечно, можно лишь примкнуть к дескриптивной программе, позволяющей раскрыть специфичность описываемого объекта. Однако не следует забывать и об опасности аутизма, закрытости, которую она несет в себе. Создание науки, полностью адекватной своему объекту и существующей только ради него, науки *ad hoc*, делает невозможным всякое сравнение. Но не является ли это имплицитной стороной данного интеллектуального проекта? Если культуры полагаются не сравнимыми друг с другом, исчезает опасность сравнения, которое могло бы оказаться неблагоприятным. Следовательно, провозглашает Аксаков, “да освободится и язык наш от наложенного на него ига иноземной грамматики, да явится он во всей собственной жизни и свободе своей” [Аксаков 1846б: 406]. Аксаков призывает *отказаться от подражания* (типично романтическая тема поиска самобытности) и дать возможность проявиться внутренней свободе языка⁸, выявить специфичность русской грамматики, выражающей бездонные глубины народного духа. Следует подчеркнуть, что поиск самобытности у Аксакова отнюдь не предполагает ксенофобии, речь идет лишь об особой, эксплицитно выраженной, теории познания: *познать можно лишь самого себя*: “И русские, и немцы пытались объяснить русский глагол, но доселе безуспешно. Нет сомнения, что иностранцам трудно постигнуть язык, им чуждый; особенно немцам трудно постигнуть язык русский: но едва ли легче понять его и русскому, руководимому иностранными воззрениями вообще” [Аксаков 1855: 5–6].

В славянофильском движении именно объект создает точку зрения, а не наоборот: объект определен изначально (он не является результатом поиска; в отличие от гипотетически-дедуктивного подхода, можно даже говорить о пресуппозиции его изначального существования, которое не ставится под сомнение), и следует создать особую науку, адекватную этому объекту⁹. Речь идет о русском языке в его абсолютном своеобразии. Таким образом, мы приходим к началам *теории двух наук*: только по-

⁷ Лейтмотивом выступают две фразы: “Обратимся к самому языку нашему” [Аксаков 1855: 11] и “Для языка русского иностранное воззрение не годится... для него нужно особое объяснение” [там же: 6].

⁸ Аксаков, которого в свое время называли “вечным подростком”, путает здесь правила (*règle-règlement*) и закономерности (*règle-régularité*).

⁹ “Доселе понимание еще не уравнилось с предметом” [Аксаков 1855: 5].

настоящему национальная лингвистика способна охватить и постичь соответствующий национальный язык во всей его целостности, только русская наука может изучить Россию как объект познания.

Итак, на основе изучения особенностей русского языка, предлагается создание новой философии языка (хотя и можно задаться вопросом, что же в ней было действительно нового, по сравнению с лингвистическими дискуссиями в Германии в течение предшествующих десятилетий). Научная программа состоит теперь в том, чтобы “слушать” то, что русский язык говорит об истории русской нации (как у всех лингвистов-романтиков, все *содержание* языка находится уже в нем самом, более того – язык сам по себе уже является содержанием), найти истинное место русского языка среди языков Европы и, наконец, показать *совершенство* его форм.

Вопреки “абстрактным” представлениям, Аксаков придает большое значение качественному и интуитивному подходу. Язык, как и Жизнь, сам себя объясняет и обуславливает, что оправдывает отказ от поиска внешней причинности. Абсолютное самоопределяющее начало – вот что такое “жизнь языка”. Согласно этой виталистской идеологии, принцип “самодвижения” и развития языка находится уже в нем самом.

Эта романтическая теория познания противопоставляется концепциям как Р. Декарта, так и И. Канта. Ее хорошо резюмирует известная фраза И.Г. Гердера о том, что человек не может ни познать, ни почувствовать то, чем не является. А если познать можно лишь самое себя или себе подобное, ни о каком сохранении критической дистанции между субъектом и объектом познания говорить, конечно, не приходится.

Однако можно пойти еще дальше и выделить эпистемологические основания данного когнитивного подхода: основной темой теории познания, заимствованной Аксаковым из немецкой натурфилософии, является категорический отказ от всякого разделения *субъекта* и *объекта* познания вообще. Отсюда обращение к Трансцендентному, где субъект и объект объединяются в единстве Абсолютного начала. В этом отношении Аксаков оказывается верным адептом *философии тождества* (Identitätsphilosophie) Ф.В. Шеллинга.

При анализе этой теории познания мы в очередной раз сталкиваемся со следующей проблемой: конечно, существует необходимость в тщательном эмпирическом изучении *фактов*, однако “романтическое знание” (выражение Гюсдорфа) интерпретирует их иначе, чем позитивизм, – если единство находится вне феноменов, речь идет о единстве трансцендентальном, а потому не существует никакой эмпирической науки, способной его постичь. Познать его можно лишь неэмпирическим путем: интеллектуальной интуицией, которая делает из филологии скорее искусство, чем науку, по словам Ф. Шлейермахера ([Schleiermacher 1805: 33], цит. по [Formigiarì 1988: 71]).

Теперь становится понятно, почему теории Аксакова можно назвать “не до конца осуществленным романтизмом”: если исследователь проявляет так мало интереса к истории славянских языков, к этимологии, к реконструкции исходного праязыка славян, то это потому, что декларируемая им абсолютная самобытность русского языка, изучаемого в генеалогическом аспекте, а следовательно, сопоставляемого с родственными языками, могла бы от этого сравнения сильно пострадать. Мерилом сравнения мог бы стать общий предок языков, но это угрожало бы самой идее поиска русской самобытности, навязчиво преследуемой в данном научном проекте.

2. “ЯЗЫКОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ” И ТЕОРИЯ ФОРМЫ

В отличие от сделанных полвека спустя заявлений А. Бергсона, для Аксакова, как и для Гегеля, мышления без слов, без языковых форм попросту не существует. Язык “думает” уже сам по себе, благодаря своим формам, флексиям, словообразованию и т.д. Именно это *мышление языка*, проявляющееся в разных формах, а не различные выражения одной и той же идеи, должна изучать грамматика – общий подход, стало быть, должен быть сугубо семасиологическим, а не ономазиологическим, как в общих грамматиках традиции Пор-Рояля, исходящих из мышления, чтобы прийти к языку:

“Что не нашло себе отдела особой формы, особого выражения в самом слове, то не должно и не может войти в грамматику” [Аксаков 1860: 22].

Как полагает Аксаков, грамматический анализ русского языка, опирающийся на иностранные категории, обречен на неудачу. Поэтому он предлагает “новые пути”: теорию “словесных форм” и основных значений. Беря за основу изучение *формальной стороны* языка, Аксаков стоит у истоков направления, ставящего последнюю во главу угла. Среди продолжателей этой линии мышления были Ф.Ф. Фортунатов (1848–1914) и А.М. Пешковский (1878–1933)¹⁰.

Аксаков ясно различает значение формы, ее употребление и синтаксические функции, с одной стороны, и, с другой, “логические” концепты, навязанные словам и их формам извне; из этого следует, что вся семантика оказывается включенной в язык. Язык – это *воплощенное мышление*. Именно поэтому анализ языковой формы оказывается столь важным для изучения содержания, выраженного, воплощенного и *раскрываемого* в языке.

Аксаковская теория формы со всей своей очевидностью проявилась в полемике, которую Аксаков вел [Аксаков 1859], возражая против грамматики своего противника-западника В.Г. Белинского. Белинский пытался априорно связать части речи с определенными синтаксическими функциями, как это делалось в общих и философских грамматиках [Белинский 1837]. На самом деле, здесь подразумевалось (хотя и не упоминалось эксплицитно) учение Аристотеля.

Аксаков опирается на следующий постулат: анализ частей речи не может начинаться с изучения их смысловой стороны (к примеру, нельзя считать существительное единственной языковой формой, выполняющей функции подлежащего), так как это был бы уже анализ скорее концептов, а не *формы, присущей* каждому слову. Точно так же не следует отождествлять грамматические категории с логическими, что подразумевало бы создание универсальной семантики, а следовательно, и отказ от постулата о специфике связей конкретного языка с особым типом мышления. Будь то глагольные суффиксы или падежи, значение для Аксакова имеет прежде всего *форма*, а не поверхностные “нюансы”, связанные с конкретным языковым употреблением. Каждая форма связывается с единственным общим значением (*sens général*) – “собственным” смыслом (*sens propre*), который впоследствии выражается или реализуется в различных нюансах языкового употребления. Аксаков занят поиском логики форм: “Наше дело указать на формы и флексии русского языка, и в логическом отношении сравнительно с другими языками” [Аксаков 1860: IX]. Таким образом, каждому падежу должно соответствовать некое *основное значение*, органически ему присущее и *единственное*. Речь идет о поиске органической сущности явления, скрытой за его эмпирической внешней стороной. Конечная цель этого – обнаружение единичного за многим, недвижимого за изменчивым, целого за частным.

Аксаков с резкой критикой обрушивается на тех, кто определяет смысл падежей, исходя из их основного (самого частого) употребления или даже из некоего исчерпывающего списка всех употреблений: “Здесь надобно заметить, что до сей поры падежи рассматривались по употреблению их в самой речи, под управлением предлогов или глаголов, где они являются в различных случайностях... Самое полное определение в наших грамматиках есть то, которое наиболее исчисляет общих случаев употребления; очевидно, что это понимание весьма условное, внешнее и недостаточное. Нам кажется, что такое воззрение должно сбивать с толку, ибо всякое случайное определение (если мы вздумаем принять оное за общее определение) закрывает перед нами закон, являющийся в нем лишь какою-нибудь одной стороною своею. Полное исчисление всех случаев невозможно... ибо это все частные случаи употребления, не только скрывающие общий закон, но часто противоречащие друг другу, как скоро не понят этот общий закон, в котором находят они свое единство и объяснение” [Аксаков 1860: 82].

¹⁰ См. [Бондарко 1985; Колесов 1984].

Терминология Аксакова здесь сугубо эссенциалистская: каждая форма, в его концепции, обладает неким основным значением, являющимся его *внутренней сущностью*. Различные аспекты этой сущности и проявляются в специфических случаях употребления форм. Понятие “языкового содержания” Аксакова опирается на следующее его убеждение в духе Гегеля: “Наука есть сознание общего в явлении, целого в частности” [Аксаков 1860: VII].

Поэтому Аксаков предлагает изучение значений грамматических форм как языковых сущностей в себе, которые следует тщательно отличать от *употреблений*, всегда случайных, тех же самых форм в частных случаях. Грамматическая наука не должна сводиться к простому *описанию* частных фактов, она должна быть *экспликативной, объяснительной* наукой: за случайными фактами нужно уметь найти скрытый порядок.

Эта тема органического, внутреннего порядка неизбежно влечет за собой следующее утверждение: если за всеми внешними проявлениями стоит порядок, *исключений существовать попросту не должно!* Существование исключений в грамматиках Аксаков считает доказательством научной убогости последних: если за всем в языке стоит порядок, ни о каких исключениях говорить не приходится. Речь идет о специфической форме иконизма, рассуждениям о котором в русской лингвистике было уготовано великое будущее: так, Р. Якобсон положительно отзываясь об Аксакове, настаивая на необходимости изучать “общее значение” формы (Gesamtbedeutung) [Jakobson 1932; 1936].

И в этом отношении Аксаков оказывается последовательным гегельянцем. Формализму Канта Гегель постоянно противопоставляет идею диалектической связи формы и содержания: не следует сводить все содержание к одному лишь *использованию* форм. Напротив, за ними нужно искать Абсолютное начало, вещь в себе. Научная же грамматика, достойная таковой называться, должна, согласно Аксакову, выделять именно *содержание языковых форм*. Однако эта “грамматика форм” Аксакова, несомненно, испытывает на себе и непосредственное влияние славянофильских принципов: идея формы оказывается центральной для тех, кто ищет в языке и в социальной жизни идиосинкратические проявления сознания и “духа” народа.

3. ВЕРБОЦЕНТРИЗМ И БОЛЬШАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КАТЕГОРИИ ВИДА, ПО СРАВНЕНИЮ С КАТЕГОРИЕЙ ВРЕМЕНИ

Иностранным языкам Аксаков ставит в упрек отнюдь не механическое соположение аффиксов, а органическую гармонию он прославляет в русском языке далеко не во всех своих работах. Основное внимание он уделяет анализу грамматических категорий, таких, как категория *времени*.

Аристотель унаследовал от Платона понятия имени и глагола, выражающие, соответственно, *постоянное* и *переменчивое* (трактат “Peri hermēneias”). Речь, при этом, шла скорее о семантических, чем о морфологических классах. Аксаков не может не поставить под сомнение это “абстрактное”, “внешнее” представление, это насилие над языком – и, в то же время, он использует его основные принципы: для него “жизнь” становится основной формой, которая противопоставляется бытию как движение – неподвижности, в то время как именно глагол передает эту жизненную субстанцию языка. Органическая метафора играет здесь важную роль: *жизнь* является исходной, самообъясняющей данностью¹¹. Именно поэтому глагол занимает высшее место в глагольно-именной оппозиции: русский глагол отдает приоритет энергии, динамизму, волевому порыву. Глагол – это движение, изменчивость, жизненная сила, тогда как имя жестко, косно и постоянно. В этом лексиконе, полном виталистических и энергетических метафор, выражение “внутренняя, движущая” сила [Аксаков 1855: 16] занимает ведущее место.

¹¹ См. об этом [Comtet 1997: 63].

Аксаков принадлежит к тем, кто ставит под сомнение априорное определение грамматических категорий (к примеру, определение глагольных категорий через выражение времени). Он решительно возражает М.В. Ломоносову (1711–1765) и А.Х. Востокову (1785–1864), стремившимся наложить “на наш язык готовую рамку времен, взятую из иностранных языков” [Аксаков 1855: 6]. В самом деле, согласно Ломоносову, русский язык имеет все те же времена, что и другие языки (включая и сложные времена, как во французском и немецком).

В своем трактате 1855 года “О русских глаголах” Аксаков утверждает следующее: русский глагол не имеет категории времени; русский глагол организован в соответствии со степенями качества выражаемого действия.

В самом деле, Аксаков полагает, что русский глагол не имеет форм для передачи времени: время *вводится* лишь употреблением, конкретным использованием глагола, форма которого выражает “качество”, то есть, вид, органически ему присущий, а не внешнюю и преходящую категорию, каковой является время. В русском языке нет времени в морфологическом смысле, так как в нем нет *специальной формы* для выражения времен. Так, в русском нет особых форм для выражения прошедшего времени (“прошедшее время” объявляется не более чем простым отглагольным прилагательным). Формы будущего времени часто используются для описания событий прошлого или настоящего, а потому их нельзя считать формами собственно будущего времени. Следовательно, в русском языке нет и будущего времени. Остается настоящее. Однако, если прошедшего и будущего времен нет, говорить о настоящем времени просто не имеет смысла. Последний аргумент Аксакова связан с тем, что использование одних времен в русском в значении других не позволяет говорить о временных *формах*. Глагольные формы в русском выражают не время, но качество действия, которое никак не связано с временными значениями. Следовательно, “время” в русском языке является не более чем проблемой употребления тех или иных глагольных форм, связанных с временными значениями лишь через общее значение (*sens général*) соответствующей формы. Видно, насколько девалоризуется здесь конкретное использование форм (уровень феномена, реализации, а следовательно, нечто частичное и несовершенное) в пользу их *внутреннего, органически им присущего* значения.

Так как о смысле можно говорить лишь при наличии соответствующих форм, а в русском языке нет специальных форм для выражения времени, времени в русском языке нет – стало быть, “смысл” снова смешивается с существованием или отсутствием особой формы, флективная морфология возводится в ранг абсолютной реальности, в ущерб аналитическому или лексическому выражению грамматических категорий.

Аксаков, никогда не ссылающийся на Аристотеля, фактически воспроизводит оппозицию *имя/глагол*, однако он изменяет ее аксиологическую ориентацию: в русском языке время больше не является одним из основных свойств глагола, роль такового отныне переходит к *виду*.

Русский язык, по Аксакову, выражает действие в его основном проявлении: это “качество”, вскрывающее внутренний аспект (вид) действия, в отличие от времени, которое представляет лишь внешний его характер. В этом отношении русский язык оказывается “более глубоким”, чем другие языки [Аксаков 1855: 15] и более совершенным, по сравнению с европейскими языками, указывающими лишь на временные, а следовательно, поверхностные аспекты действия. Вопрос “как?”, связанный с внутренними, органически присущими категориями действия, в иерархии Аксакова гораздо более важен, чем вопрос “когда?”. “Русский язык берет в расчет не время, но сущность, смысл самого действия” [Аксаков 1855: 33].

Аксаков говорит не об общепринятых двух, но о *трех* формах русского вида, которые он называет *степенями действия*. Это

- неопределенная степень, описывающая действие самым общим образом (например, *двигать*);
- однократная степень, изображающая действие в момент его совершения (например, *двинуть*);

– многократная степень, изображающая действие как серию моментов его реализации (например, *двигивать*).

Почему же Аксаков говорит именно о *трех* видах в русском языке? Дело в том, что его схема буквально отражает три момента диалектики Гегеля:

- субъективная недифференцированность, абстрактное;
- объективные различия; конкретное;
- абсолютное, или разрешение противоречия между двумя предшествующими моментами.

Так же, как, по Гегелю, каждое действие неизбежно проходит три этапа, в концепции Аксакова каждый глагол, передающий действие, должен иметь три формы, соответствующие этим трем этапам или трем степеням. Именно этот философский, априорный аспект данной теории, противоречащий заявлениям Аксакова о необходимости исходить из непосредственных фактов языка, ставили ему в упрек многие его современники¹².

Другие возражали ему силлогизмом в духе Аристотеля: глаголы выражают действия, однако ни одно действие не может совершаться вне времени, следовательно, русские глаголы выражают время ([Турунов 1855], цит. по [Фессалоницкий 1963: 64]).

Среди самих славянофилов экстравагантные тезисы Аксакова большой популярностью не пользовались. Для И.В. Киреевского [“Современник” 1855: 15] использование одних времен вместо других имело не более чем *переносное* значение, что подразумевало и наличие *прямого* значения у времен. Это означало, что время и вид необходимо *связаны* друг с другом.

В то же время Ф.И. Буслаев возражал Аксакову в другом, заменяя философское рассуждение о *формах* позитивистским изучением этимологических *фактов*: временная система старославянского была очень богатой, русский же язык развил виды из времен, а не наоборот. Как видно, диалог двух глухих здесь налицо: исследователи просто говорят о разных вещах.

На самом деле, позиция Аксакова-лингвиста в очередной раз оказывается двойственной: его теория вида основывается на идеалистической гегельянской триаде, однако теория времени в его концепции опирается на славянофильское положение об *абсолютном своеобразии* всего русского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе мы стремились проследить за процессом возникновения и основными противоречиями свойственного славянофилам поиска самобытности: ограничить Себя от Другого (прежде всего, от Запада, воспринимаемого как единое недифференцированное целое), подражая его же методам (имеется в виду философия Гегеля). На поверку эта автономия оказалась несовершенной, а зависимость – вездесущей.

Отказ от “иностранных” моделей оставлял иногда место для блистательных интуитивных прозрений. Однако Аксаков попадает в собственную ловушку: воспроизводимая им гегельянская триада, диалектика общего и частного, делает недостижимой цель, состоящую в раскрытии абсолютного своеобразия русского языка и даже создания чисто русской науки о русской грамматике.

Теория формы Аксакова вписывается в посткантIANскую философию, близкую к немецкой натурфилософии. Подобно органам чувств, науки, поэзия, религия, искусства оказываются путями приближения к пониманию универсума во всей его цельности и полноте. Поиск этого глобального знания, интуитивного осознания, в котором объединяются видимое и невидимое, очевидное и скрытое, внутреннее и внешнее, и объясняет всю упорную работу Аксакова, равно как и его исходные постулаты. Однако

¹² См., например [“Современник” 1855: 14–15], цит. по [Фессалоницкий 1963: 62]): “Система видов г. Аксакова основана не на свойствах самого духа, а на чуждой ему теории”.

стремление разорвать этимологические связи русского с другими индоевропейскими – и даже славянскими – языками обесценивает этот глобальный философский проект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксаков 1838 – К.С. Аксаков. О грамматике вообще // Сочинения филологические. Т. 2. Ч. 1. М., 1875.
- Аксаков 1846а – К.С. Аксаков. Ломоносов в истории русской литературы и языка. М., 1846.
- Аксаков 1846б – К.С. Аксаков. Несколько слов о нашем правописании // Сочинения филологические. Т. II. Ч. 1. М., 1875.
- Аксаков 1855 – К.С. Аксаков. О русских глаголах. М., 1855.
- Аксаков 1859 – К.С. Аксаков. Критический анализ “Опыта русской грамматики” Буслаева. М., 1859.
- Аксаков 1860 – К.С. Аксаков. Опыт русской грамматики. М., 1860.
- Белинский 1837 – В.Г. Белинский. Основания русской грамматики для первоначального обучения. М., 1837.
- Бондарко 1985 – А.В. Бондарко. Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX в. (К.С. Аксаков, А.А. Потебня, В.П. Сланский) // Грамматические концепции в языкознании XIX в. Ленинград, 1985.
- Даль 1862 – В. Даль. Напутное слово // Толковый словарь живого великорусского языка. М.; СПб., 1862.
- Колесов 1984 – В.В. Колесов. Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в. // Понимание историзма и развития в языкознании 1-ой половины XIX века. М., 1984.
- РА 1904 – “Русский архив”. II. 1904.
- Серио 2001 – П. Серио. Структура и целостность // Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. М., 2001.
- “Современник” 1855 – “Современник” 1855. Т. 52.
- Турунов 1855 – Я. Турунов. “Русский инвалид”. № 170. 5 августа 1855.
- Фессалоницкий 1963 – С.А. Фессалоницкий. Из отзывов о брошюре К.С. Аксакова “О русских глаголах” // Ленинградский гос. пед. ин-т им. Герцена. Уч. зап. Т. 248. 1963. Кафедра русского языка.
- Хомяков 1861 – А.С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Т. V. М., 1861.
- Чижевский 1939 – Д. Чижевский. Гегель в России. Париж, 1939.
- Comtet 1997 – R. Comtet. L’apport germanique à la réflexion sur la langue en Russie // Slavica occitania. 4. 1997.
- Formigari 1988 – L. Formigari. De l’idéalisme dans les théories du langage. Histoire d’une transition // Histoire. Epistémologie // Langage. 10–1. 1988.
- Gusdorf 1968 – G. Gusdorf. La parole. Paris, 1968.
- Jakobson 1932 – R. Jakobson. Zum Struktur der russischen Verbums // Charisteria Gvilelmo Mathesio oblata. Praha, 1932.
- Jakobson 1936 – R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen des russischen Kasus // Travaux du Cercle linguistique de Prague. 6. 1936.
- Koyré 1950 – A. Koyré. Études sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie. Paris, 1950.
- Schleiermacher 1805 – F. Schleiermacher. Hermeneutik / Hrsg. von H. Kimmerle. Heidelberg, 1959.
- Tschizhevsky 1932 – D. Tschizhevsky. Zur Geschichte der russischen Sprachphilosophie. K. Aksakov // Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et circuli lingvistici pragensis sodalibus oblata. Praha, 1932.
- Walicki 1975 – A. Walicki. The Slavophile controversy: History of a conservative utopia in 19th-century Russian thought. Oxford, 1975.

Перевела с французского Екатерина Вельмезова